

Красиков В.И.

Отчаяние

Умонастрой, соответствующий апатии – *отчаяние*. Оно может быть эмоциональной волной ненависти, сметающей все и вся, но оно же может предстать в виде мертвого штиля равнодушия. Это, одновременно, и глубочайший кризис личности, его, которое лишается своей подпорки веры в себя и надежд (чаяний) на собственную значимость и хорошие перспективы. Отчаяние – когда уже нет чаяний. Конечно, мы имеем в виду не ситуативное отчаяние, преходящее и отходчивое – результат каких-то резких экстремальных, внешних для человека событий. Здесь мы имеем дело с результатом длительного вызревания: досада сменяется хандрой, хандра апатией, тоска превращается в скуку, скука обрывается отчаянием. Отчаяние здесь системно, тотально, есть полная эрозия ценностей и идеалов, надежд и ожиданий – вследствие перманентного контраста между желаемым и повседневностью.

В отличие от досады или скуки, отчаяние – состояние *вне* нормы. Это кризис, выход за предшествующее личностное качество, которое и кончается в отчаянии. Отчаяние – пора личностных кризисов и революций. Полная дезориентация, потеря опор и лихорадочный поиск новых целей, идеалов, смыслов. После может начаться новое качество души, а может она и погибнуть невосвратно и невосстановимо. Так или иначе, но именно в силу своей ненормальности, отчаяние всегда временное состояние и стремится к какому-либо своему разрешению, восстановлению нормального жизненного ритма, пусть и на других основаниях.

Отчаяние – маргинальная жизненная зона: между человеческим бытием, наполненным всегда неким смыслом и его же небытием, бессмыслицей собственной ничтожности. Последнее глубоко противоестественно для человека, который не может не любить себя, не может не ощущать свою хоть какую-то значительность – все это предстает в неких смыслах, пусть даже и абсурдных или мелких с точки зрения других людей. Это неважно, важно утверждение собственной осмысленности существования: пусть даже совсем незатейливых – "для кого-то" или "потому что мне хорошо".

Как только теряется хотя бы элементарнейшая осмысленность существования, когда сознание теряет способность распоряжаться собой, планировать, полагать свои цели, отслеживать их выполнение, тогда и теряется само качество человеческого бытия: продуцировании смыслов, хоть и самых примитивнейших. Отчаяние и есть прострация, дезориентация, грань между нормой и патологией. В отчаянии сознание, его не могут нормально функционировать, производя надежды и цели, соразмерные себе, т.е. установившейся ранее ценностно-метафизической ориентационной системе "картины мира". Не могут, ибо разрушен порядок базовых смыслов. Разрушен, подточен медленно, исподволь переживаниями маелности, длительностью и разительностью несоответствия между явью и бытием-в-надежде. Машина надежд уже не работает и человек переходит из надрыва отчаяния в растительное существование, либо она начинает работать с безумной скоростью, превращаясь в металлом шизофренического бреда (авось мир перевернется или придут архангелы с огненными мечами и накажут супостатов).

Отчаяние, таким образом, есть основательная "черная дыра" в человеческом существовании, которая может либо поглотить, схлопнуть дальнейшее, либо "снять" качество прежнего, переструктурировав "духовные атомы" личности в иной, неведомый узор.

Переживание и осознание человеком отчаяния зависит как от его потенциала жизненности, так и, в большей мере, от степени развития его самосознания. Как загнанный зверь, человек может в озлоблении броситься на угнетателей и обидчиков, все отвергать, подняться на тотальный бунт, а может быть прикованным рабом на галере судьбы, может принять новую религию, уйти в леса или тихо испустить дух. Проявления отчаяния могут быть разными, в зависимости от потенциала витальности, но направленность вектора ее следствий для возобновляющегося существования зависит от способности человеческого сознания владеть собой. Отчаяние, конечно, часто обрывает некоторые человеческие жизни. Однако в большинстве своем прострация апатии и отчаяния сменяется новым жизненным витком в ином качестве. Кому-то отчаяние открывает глаза внутреннего духовного видения, позволяющего различать, чувствовать фальшь в любых ее обличьях, а для кого-то оно есть лишь перевалочный пункт к новой

сказке, когда в безжизненной голой пустыне отчаяния перед теряющим сознание путником возникает волшебство миража-оазиса.

У большинства вакуум веры, удушье безнадежности вызывает лихорадку легковерия – люди готовы поверить во что-угодно (утопающий хватается за соломинку) Они воспринимают как откровение, чудо, открытие – очередную банальность о сверхъестественном, трансцендентном. Как безотказно всегда работают сказки о Золушке и принце, так же воздействуют тривиальные байки о лжи социального мира, о особом пути спасения избранных. Другая реакция – тотальное отрицание, принятие отрицательности как позиции, нигилизм, бунт. И только известная часть людей удерживается от искушения легковерия и остается в осторожности балансирования скепсиса, выдержанности игнорирования абсолютов. Отчего люди так легковерны?

Сам опыт нарастания разлада внутри человека, переживаемый в маете и завершающийся отчаянием, означает признание поражения, неспособности создать самому реалистический проект существования. Люди либо жуют жвачку идеологии и религии, либо навоображают себе бог весть что, совсем безнадежно нереалистическое. Но и религия и идеология, воспринимаемые всерьез, есть лакировка действительности, так же, как и собственные романтические фантазии.

В общем-то маета – имманентное состояние человеческой души, переживание контраста между явью и бытием-в-чаре, надежде. Только у одних этот контраст глубже и ощущается болезненнее, чем у других, более приземленных и прагматистских личностей. А вообще стремление к самозачаровыванию антропологично – надежда на лучшее, вера в собственную значимость принадлежат к основополагающим интенциям устройства нашего сознания. Но массовое сознание не отдает себе отчета в подобной своей неустранимой двойственности: здоровой рассудочности повседневности и безмерной сладостности ожиданий чудес собственного жизненного успеха. Последнее, как и первое, укоренено в нас – иначе зачем жить? Без упований и чаяний. Люди прагматистского склада переживают маету как легкий дискомфорт – у них *небольшой зазор* между мечтами и явью. Они вряд ли когда поймут о чем вообще речь идет: маета – это когда заняться нечем, удел бездельников (дурью маяться).

Но много людей, которые настроены более идеалистически, хотя и идеализм у них, можно сказать, обыденно-фантазийный, определяемый более примитивными и пошлейшими стереотипами. Их мечты поэтому зачастую суррогатны, являясь калькой с масс-культурных стереотипов: хочу стать поп-звездой, актером, топ-моделью, менеджером, начальником и пр., короче, высокооплачиваемым, преуспевающим и значительным лицом. Понятно, что достичь этого удастся очень немногим, одаренным от природы (витальность, целеустремленность, сметливость), к которым и "липнет", как правило, удача.

У большинства же судьба складывается вполне заурядно. И эта заурядность, ее приземленность резко контрастируют с исходными надеждами, сладостными предвкушениями блестящего будущего. Чем дальше, тем резче этот контраст, переживания которого облакаются в гамму разнообразнейших проявлений тоски, скуки, отчаяния. Причем эти люди не видят невольного авторства своей беды. Нет рядом психолога, философа, которые бы ему это растолковали и утешили. Напротив, кругом учат, что "человек – кузнец своего счастья", "человек – это звучит гордо", фильмы и романы населяют удачливые и счастливые герои.

Заурядность – клеймо неудачи и от заурядности бегут, стремясь хоть чем-то выделиться. Но это оказывается напрасным, ощущения маеты принимают хронический, болезненно-ноющий характер. Тем более, что люди не хотят даже себе признаться в своей заурядности, находят разные утешительные и благовидные объяснения отсутствия ожидаемого успеха. Отрезая тем самым себе реальный путь к переделке себя. Человек так же пассивно, сложа руки ждет всю жизнь: когда подвернется удобный случай, который только надо использовать, который все радикально изменит.

Концепция "счастливого случая" идеально подходит для большинства, т.к. оправдывает их ленность, гедонизм и потребительство. Удачи достиг тот, кому подфартило, кто подсуетился в нужное время и нужном месте. Подобная концепция дает силы ждать своего часа. Это "человеческое, слишком человеческое". Те, кто не ждет, не имеет ни живости чувств, ни уважения к себе, ни уверенности в себе. Но в этом ожидании, однако, по мере накрутки лет на счетчике личностного времени, все более и более проступают глубинные черты иного, неотвратимо-безжалостного, сублимацией чего является ожидание удачи.

Сублимацией маеты, которая посредством установки на ожидание отодвигается, загоняется вовнутрь. В подобных случаях маета приобретает запущенно-патологический характер душевного нарыва, как и в случае с неприятными, вытесняемыми в бессознательное, воспоминаниями. В отличие от фрейдовской модели, человек не может забыть или радикально отвлечься – ощущения маеты очень часты, почти ежедневны. Отсутствие самоанализа их вскрытия и сознательной терапии приводят лишь к нарастанию утомления, безысходности, незаметному и постепенному смещению ego-центра общей жизненной тональности в спектр раздражительности, тоски и скуки.

Гнойник подавляемой маеты рано или поздно взрывается в отчаянии. Накопленная тяжесть усталости разрывает бодряческий слой удержания и овладевает-сковывает практическое сознание свинцовостью апатии. Взлом слоя шаблонов и стереотипов, управлявших повседневностью функционирования ("все-так-живут") хотя и расстраивает, рассогласует отлаженный ритм жизни, но одновременно освобождает из узилища старательности избегания томящуюся там рефлексию. Пусть и ее простую форму житейского самоанализа: "Как я живу? Что, собственно, мне надо в этой жизни? Есть ли во всем этом хотя бы капелька смысла?"

Для человека, не привыкшего к подобным неуместным, знобящим вопросам, сама неожиданность их напоминает ушат ледяной воды. Все становится до неприличия обнаженным и срамным. Шумный и веселый маскарад хороводов повседневности сознания вдруг внезапно исчезает, оставив в гробовой тишине, абсолютной пустоте и невыносимо ярком свете юпитеров самоанализа голенькое и дрожащее "я". Его жалкий, никчемный вид, абсолютная неуместность и эпизодичность вызывают у него же самого, силой обстоятельств ткнутого в зеркало рефлексии, судороги отчаяния.

Конечно, это не может продолжаться долго. Большинству крайне неприятен это tet-a-tet с самим собой, равно как и сама безопорность сознания. Оно отчаянно ищет новую опору – вовне, в арсенале общественного сознания и культуры. С безмерным облегчением они бросаются в новое samozачаровывание какой-либо социальной или религиозной идеи. К тому же в человеческой памяти есть благодетельные механизмы стирания, забывания.

Кризис как-то разрешается в зависимости от особенностей этого-вот сознания.

Новая личностная парадигма приводит в должное соответствие изрядно похудевшие амбиции с неким, также более скромным, новым жизненным идеалом, смыслом. Человек с радостью подчиняется некому безмерно его превосходящему значению (Бог, государство, этнос), переходя из эгоистического жизненного стиля в более социализированный. Прошедший кризис и отчаяние воспринимаются как кошмарный сон. Но такое, как правило, не повторяется: человек радикально сокращает свои притязания и самооценку. Обжегшись на опыте рефлексии, загоняет ее вглубь сознания, выстраивая вокруг еще и стену-монолит новых убеждений. Эти убеждения так называемой "житейской мудрости" – те предрассудки, которые он раньше отвергал или относился к ним с изрядной долей скепсиса и иронии, непременным ореолом нарциссического "я" с завышенной самооценкой. Встряска отчаянием сгоняет дутую спесь с убогого, как оказывается, "я". Блудный сын возвращается в социальное стадо, которое встречает его одобрительными возгласами узнавания, а социальное целое вновь наливается самодовольной мощью Великого Повтора.

Особый род отчаяния – *метафизическое отчаяние*. Собственно, это имманентная позиция систематически рефлексивного разума. То, что является патологией, кризисом, пограничной ситуацией для страусиного большинства, то есть норма рефлексивного сознания. Только лишено оно романтики-надрывного пафоса, трагически-героических поз а la Байрон или Печорин. И эти романтическая хандра и таинственная значительность признаны суетными комплексами самоублажения алчущего поклонения нарциссического чувства.

Отчаяние здесь спокойно, констативно и здравомысляще. Иллюзий практически уже нет, разве что уж совсем необходимые: убежденность в себе и калькуляция сценариев ближайшего будущего. Ежедневные упражнения в самоедстве рефлексии постепенно вытраивают всю ребяческую восторженность доверчивости сладкоголосым авторитетам и всю слащавую идеалистичность приукрашивания действительности. И, вместе с тем, рефлексивное сознание остается идеалистическим. Но это не идеализм разукрашивания мира в пасторально-гуманистические

или умилительно-религиозные цвета. Именно он-то и выжигается в первую очередь рефлексией. Остаются только рационализм и воля, *пепел и упрямство*.

Пепел усталого раздражения и упорство борьбы, в которой заранее гарантировано сокрушительное поражение. В этом прекрасно отдает себе отчет самосознание, но воспринимает сие спокойно и отстраненно, отнюдь не собираясь сдаваться.

Но почему подобное отчаяние названо "метафизическим"? Не ради пассагов впечатляющего воздействия на воображение неискушенного читателя. Само отчаяние как лишенность большинства чаяний: возрастных, социокультурных, религиозных, философско-романтических, есть *имманентная позиция философствования* – бытийное месторасположение сознания, способного смотреть и судить о мире по-иному, чем остальные. Это позиция *у пределов* – вдоль разграничительных силовых линий различных областей человеческого опыта. За пределы мы, увы, попасть никогда не сможем, как бы вас не уверяли амбициозные пророки или философы – не были они там, "за", хотя, вероятно, и переживали кратковременный интеллектуальный либо религиозный экстаз, рефлексивный дубль которого и есть "запредельное". Хотя за пределы попасть мы не в состоянии, но вот к пределам – к голым очевидностям, лишенным одежд таинственной многозначительности и многообещающих умолчаний, жестким и неприглядным истинам антропологического и социального бытия без их идеологического и религиозного антуража – вполне нас может прибить отчаяние.

Когда говорят: пределы нашего сознания, нашего опыта, то опять-таки туманно намекается на нечто сакрально-всеобщее. Вовсе нет. Пределы, в которые мы заключены, – анонимно-видовые, безжалостны в своем абсолютном безразличии к индивидуальному сознанию. Они есть антропологические максимы, установления Великого Повтора – теперь уже в нашей, общественно-видовой, форме. К их осознанию, как "правил игры", лежит путь через отчаяние-вызревание сознания через болезненное освобождение от многих-многих чаяний. Именно яркий и слепящий свет отчаяния заливает все "помещение", в котором мы укупорены, позволяя нам лицезреть умопостижением прочность стен-пределов. Этот же свет аннигилирует дивное убранство помещения, оставляя нас в абсолютно пустом, гулком и стерильном пространстве нашего

разволшебствованного сознания и соответствующей ему закономерно-физической и десубъективированной вселенной. Вот логическое завершение позиции индивидуализма в метафизическом отчаянии: "я" и мир, которому абсолютно нет до меня никакого дела. Если бы было, то давно "я" было бы раздавлено, как надоедливая мошка. Но последнее сравнение даже слишком значительно: разве может, к примеру, человек увидеть самонадеянность и самовлюбленность какого-нибудь вируса?

Более того, нет собственно смысла и в палочке-выручалочке индивидуально отчаявшегося – человечестве. Объективность, безликость, жизнеутверждаемость – главные смыслы человечества как Целого. Подобное смысловое содержание задано тремя основными антропологическими особенностями: "атомарной" множественностью состава человечества и потенциальной самодостаточностью каждой единицы; половым расколом человечества на разнохарактерные по особенностям активности группы; краткосрочностью жизни людского поколения, сообщающую хроническую незрелость, инфантильность всему Целому. Именно эти особенности задают причудливое сочетание в каждой индивидуальной жизни ужасающего однообразия Великого Повтора и, вместе с тем, "хитрости мирового разума", когда случаются часто события, которых никто не ожидал и не предвидел.

Мы должны быть метафизически скромнее и признать, что при имеющемся антропологическом раскладе каких-то особенных, возвышенных смыслов существования у человечества не имеется. За исключением приписывания таковых со стороны идеалистически настроенных людей. Они экстраполируют свой умонастрой до общечеловеческого либо даже до вселенского состояния.

Если же не очаровываться этими, вне всякого сомнения прекрасными и возвышенными, но всегда рождающимися только в отдельном сознании, целеполаганиями, то человеческое Целое живет в основном в биологическом режиме расширенного воспроизводства, а витальные ценности всегда являются профильными. Это объясняется во многом чисто видо-биологической спецификой как отдельного человеческого организма, так и отдельных популяций (этносов). Каждый человек проходит последовательно возрастные биологические периоды, в

которых половина жизненного срока отведена освоению навыков "быть эффективной частью, функцией" Целого (социализация, профессия, карьера) и поиску полового партнера для самодублирования, замены "себя-части" на такую же. Для большинства эти усилия, которые должны быть признаны все же как минимум "биосоциальными", собственно и определяют основной спектр в их жизненном рисунке. Эти усилия вычерпывают, иссушают. Далее, как правило, кривая жизненного графика застывает на одном достигнутом уровне с неуклонной тенденцией к спаду, апатии и застыванию. Есть, конечно, и другие люди, способные развивать в себе иные, идеалистические мотивации и в соответствии с ними самообустраивать себя отлично от окружающих. Они и поставляют на духовный рынок идеалистические цели и жизненные стратегии, которые охотно потребляют - как "одежду", пристойно прикрывающую смысловую наготу "организменно-биологического срама" - нормальное антропологическое большинство.

Действительное прозаическое господство репродуктивных смыслов в социокультурной динамике обусловлено и тем, что мы очень короткоживущие существа, успевающие только-только размножиться и добыть средства к существованию для себя и своих детей, как наши же дети с азартом кидаются в Великое Повторение, обеспечивая тем самым вечность и неизбывность видо-биологическим ценностям. Вид – это неостановочный биологический конвейер самовоспроизводства: жить, чтобы жить, а все остальное игрушки и побоку. Куда, к чему, с какой целью мы движемся, через тысячи лет и миллиарды тел? По сути дела, к увеличению своей биомассы и комфортности существования возможно большего числа ее единиц.

Смыслы жизни оказываются на поверку скорее биосоциальной или специфически биологической формой существования вида *homo sapiens*. Разумеется, есть и искусство, наука, религия, философия – действительно небиологические, собственно сапиентные высшие формы существования. Но они, не в регламентированно-функционалистском виде, всегда составляют суть активности именно творческого меньшинства (или высшего человечества). В остальном же большинство сфер социальной активности, равно и удовлетворяемые с их помощью потребности ничем не отличаются от биологических потребностей любой

другой дочеловеческой популяции живых существ: добывание пищи, устройство убежища-жилища, защита территории проживания, обеспечение благоприятных условий для размножения и удовлетворения других физиологических потребностей, видовой альтруизм и пр. Все эти потребности, в отличие от прозаических животных, которые не могут придать им благопристойность, получили символическое удвоение в культуре и, соответственно, свою независимую идеальную жизнь. Язык переодевает не только мысли, но и наши прозаические особенности и потребности. Не высморкалась, как говаривала одна из гоголевских героинь, а облегчила нос посредством платка. Точно так же символизация нашего видо-биологического естества превращает его вроде бы как и в иное качество: в основном "социальное", со стыдливым добавлением отчасти "биологического".

Человек – существо, производящее смыслы. В них, посредством их живущее. И хотя оно делает то же, что и животное, но воспринимает эти действия осмысленно, через мысль, смысл. И это *cogito, ergo sum* создает устойчивое впечатление, особенно у любящих мыслить людей, что наше бытие - как индивидуальное, так и, по экстраполяции, видовое - есть радикально отличное от всего прочего живого существование.

По параметру сознания – это несомненно так, собственно это и есть наш отличительный признак. Но сугубо индивидуальный признак, на уровне особи. Вид, человечество существует само по себе, у него нет универсального *ego*. Отдельного человека мы отличим от других живых существ на планете по признаку разума и рефлексии. И это невозможно сделать в отношении суперпопуляции людей на планете в силу именно отсутствия субстанции "общечеловеческого разума" и "самосознания". Более того, Оно неразумно. Потому и человечество как супер-организменное целое пока не может не быть биологическим в целом образованием. Культура же есть упорядочивание и осмысление окружающего и себя индивидуальными сознаниями, вкупе создающими вторичную, символическую реальность, которая как покрывало *майи* изменяет восприятие видо-биологического мира.

От такой картины ужасно неуютно, всегда существует соблазн объявить это упадничеством, малодушием, пессимизмом и

неверием в человечество. Если бы человечество было бы более, чем зоологическим понятием.

Отчаяние должно быть выдержанным и длительным, спокойным и упрямым. Только так человеческое сознание может сохранить отстраненность, нахождение у пределов – хотя, как мы видим, ничего особо хорошего там нет. Прямо скажем, что нахождение в отчаянии – маргинальная духовная позиция. Что следует из адекватного понимания самой метафизичности нахождения "у пределов": то, что якобы находится "за пределами" есть не что иное, как сублимация нашего неумного желания стучаться и ломиться в запертые двери.

Человеческий духовный опыт переполнен блестящими и убогими, изысканно-интеллектуальными и ширпотребными *формами*. Формы, образцы, точки духовных координат, стратегии поведения и существования – миры, в которых живут сознания людей. Тысячелетняя история мысли разработала, соткала тысячи тысяч подобных духовных обителей, которые облюбовывают себе разные сознания. Причем некоторые из них вполне и вполне приличные. Позиция же метафизического отчаяния – *позиция просмотра* именно потому, что она *вне* их. Однако оставаться в этой позиции философствующее сознание долго все же не может. Оно все равно возвращается к своей привычной, ткаческо-символической деятельности.

Начать же исходное самостоятельное продуцирование оно может лишь из маргинальной позиции отчаяния. Более того, сам возврат к продуктивной символизации, творческому воображению полагания авторской картины мира отчасти условен. Условен потому, что отчаяние и философствование – две равноосновные, хотя и антиномичные, душевные стороны рефлексующего разума. Очередной жизненный подъем дает силы побега от усталости отчаяния, из беспризорности бомжевания у сирых пределов – в энтузиазм творческого воображения и радость мыслескольжения. Однако следующее затем опустошение опять низвергает его в пустоту, которая оказывается первичнее, объемнее, как истинная бесконечность, любого вселенского проекта.

Это порождает взаимоумеряющее и разорванное существование, рваный и лихорадочный темп бытия. То в жар, то в холод бросает сознание, хронически пораженное рефлексией. Это

не игра, а самоистязание того разума, который уже никогда не может верить и страстно жаждет веры, жестко-циничного и безумно-идеалистичного. Он сам не знает, где он – истинный, где он – у себя дома, ибо он метафизически навсегда бездомен. Он весь – открытая душевная рана. Но вот повернулось колесо судьбы в сознании – а время здесь течет по-иному – и под пеплом отчаяния начинает пульсировать молодая плоть надежды и удивления: в чем же все-таки дело?

Многие склонны, следуя старой доброй привычке неявного душевного самопроецирования в мир, субстанциализировать свои переживания. Это хороший терапевтический прием, спонтанно находимый стремящимися облегчить свои душевные страдания. Легче и приятнее драматизировать бытие, придать самому ему романтико-героические черты: "мировой скорби", "вселенского отчаяния". Не ты сам изнашиваешься и стареешь, теряешь энергию и живость. Нет, все движется к закату и гибели, все находится в фатальной необратимости процесса космического старения и увядания.

Вместе с миром оно комфортнее переносить страдания, как и погибать – не обидно и даже интересно. Не ты в отчаянии, а отчаяние овладевает тобой как неодолимая сила вселенского проклятия, соотносится с тобой как рок, внешняя необходимость ("снова отчаяние мне в душу глядит"). Признаться, и мне мила подобная, пронзительно-прекрасная картина трагического бытия, сопряженного с нашими душами совместной пульсацией взлетов и падений. Но мила ностальгически, как один из последних призраков-чарований самообольщающегося разума, живущего с миром нараспашку.

Маета неоднократно и многоформенна не только у разных людей, что вполне естественно и было продемонстрировано, но и в жизненном опыте одного человека. Это наш постоянный спутник, сначала нежданный, неприятный и докучливый, затем тягостный надсмотрщик и истязатель, и, в конце-концов, закадычный старина-зануда, которого хотя и особо жалуешь, но без которого уже и не мыслишь жизнь. Все зависит от житейского опыта и опыта самоузнавания.

Юношеские тоска, скука, отчаяние переживаются обвальностно – вследствие отсутствия собственного фундамента, устойчивости самородного свойства: взглядов, убеждений, веры.

Все пока заемно и потому неустойчиво, эфемерно, может быть порушено хорошим, неожиданным ударом с любой стороны. Неокрепшие души остро-драматически переживают контраст маеты. Однако все же, это во многом поверхностные и деланные переживания, жеманно-юношеское двоемыслие: параллельно со сладко-трагическими раздумиями о "мировой скорби" и жалениями о безвременно сгубленной Роком молодой души, тут же мелькают казалось бы неуместные шаловливые мыслишки – "байроническое" мне к лицу и производят впечатление на N. Слишком много еще неопробованного и отчаяние легко преодолевается щедрыми посулами со всех сторон. Возраст подающих надежды сам по себе в большинстве случаев разряжает юношеское отчаяние, за исключением паталогий суицидальных предрасположенностей и редчайших случаев раннего созревания гениев, у которых оно переходит во "второе рождение".

Более массовым и классическим, благодаря историям Будды и Иисуса, является отчаяние жизненного среднерубежья, завершающееся либо капитуляцией, либо "вторым рождением". Капитуляция – подчинение социоантропологической судьбе, сокращение личностных притязаний до общеприемлемых размеров, самоидентификация с умонастроением окружения. "Второе рождение" - упрямство противостояния, в обширной гамме вариантов: от прямого бунта, маргинального поведения до скрыто-оппозиционной, хамелеонской, стоической позиции. Отчаяние среднерубежья наиболее продуктивно в творческом отношении, равно как и представляет уже серьезную душевную ломку, не проходящую без последствий и для физическо-психического здоровья. Уже есть, что ломать: многие культурные и идеологические интроскопии успели основательно врасти в душу, стать ее органическими частями.

Но хуже, если отчаяние подстережет человека в пожилом возрасте. Того человека, который благополучно, а на самом деле оказывается скорее "злополучно" избежал маеты в юношеском и зрелом возрасте. Маета – имманентная участь-испытание человека, и каждое сознание, имеющее хотя бы средне-нормальную представленность в себе основных общечеловеческих интенций надежды, стремления к свободе и рефлексии, рано или поздно обнаружит себя в ней. Развитые сознания, в которых благодатно представлены и культивируемы эти интенции, проходят маету по

полной программе во всех возрастах, но и сживаются с ней как с хронической болезнью. Горемыки, коих маета подстерегает в конце их жизненного пути, оказываются теми недалекими людьми, которые уподобляются крыловской стрекозе, получая нежданно и сразу все целиком: последствия своей бездумности, легковесности, потребительства.

Итак, маета всеохватна и неизбежна в человеческом существовании, выражает переживание контраста между явью и нашими чаяниями. Само появление трансцендентального, рефлексивного философствования а la Будда, Екклесиаст, Сократ или Кант только и возможно благодаря наличию переживания маятности нашего существования.

Маета – *озноб* существования, заставляющий нас обратить внимание на себя, остаться наедине с собой, увидеть, одновременно, свои малость и значительность, слишком человеческое и сверхчеловеческое, заурядность и прожилки оригинальности в ней же. Озноб – состояние переживания перехода от нормы слиянности с окружающей средой к чему-то иному, неведомому, индикатор "чего-то случающегося" с человеком. Озноб маеты заставляет человека заняться собой, запускает процесс самопознания.

Осознание суетности отравляет нашу жизнь. Это когда мы находимся в некоторой отстраненности и давно уже не случается ничего интересно-радостного для нас и с нами. Но вот это что-то случается и, о чудо, мы с жеребьячьей радостью начинаем мельтешить и суетиться, находя в этом много позитивного. Знаем ведь, что потом же будем попрекать и презирать себя за подобное "предательство" наслаждения суетливой успешностью. Отстраненно-ироничное в нас хотя и кривится, предвосхищая неизбежное разочарование и развенчание ощущений успеха похмельем возобновления маеты, но не преминет и оно случая расслабиться, на время забыться в эйфории суетливой вроде-бы-удачи. Чего греха таить – любим мы иногда суетиться, особенно когда суета сопровождается, приправлена мелкими сладостями похвалы, пиетета, уважения и лести окружающих. Слаб человек.

В любом, даже мглисто-безотрадном отчаянии мерцает все же жизненный интерес. Знаешь ведь, что все будет по-прежнему, а интересно: а вдруг? Это потому, что самая большая неожиданность и неизвестность заключена в нас же самих, в нашем самосознании. И самая большая надежда. Никогда нет конца до самого конца.

Маета – путь упорства разума, начало его восстания против своего уделанахождения *в яви тела*. Познание – начало иного существования. Потому ему неуютно, зябко в яви. Потому-то для индивидуального сознания, проснувшегося в тягостном кошмаре маеты, самое казалось бы бесспорное и общественно удостоверяемое – явь, значения повседневности начинают казаться ненастоящими, зыбкими, условными. Явь прерастает в майю.